

*Рассказы,
фельетоны*

АВТОБИОГРАФИЯ

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю определить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он, с видом знатока, осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! — подумал я, внутренне усмехнувшись. — Ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликовование. Злые языки связывали это ликовение с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но — я до сих пор не понимаю — при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно, первым долгом, вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конеч-

ность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме:

«...хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, — росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безуко-

ризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг; и — пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растищены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания — сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей — совершился мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец, с сожалением распротившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею, — возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор! — возразил отец. — Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш

сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста становился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу, — говорила печально мать. — Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но — все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь... — упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест, — возразил я, подумав. — Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. — Черт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то солнной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака — очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», — подумал я.

— Здравствуйте! — сказал я, крепко пожимая ему руку. — Как делишки?

— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

— Здравствуйте, — сказал я. — Как живете-можете? (общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

— Ничего, — сказал молодой господин. — Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестрá? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, — думал я про себя. — Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

— Какой-то плюгавый старичишко стягивает пальто.

Плюгавый старичишко вошел и закричал:

— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

— Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал двадцать пять рублей в месяц, когда я получал пятнадцать, а когда и я дослужился до двадцати пяти рублей — ему дали сорок. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских перепрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком, и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи большей частью беглыми с каторги, паспортов они не имели и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье не-посильной работой ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки...

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов.

— Что это такое? — изумился я.

— А шахтеры, — улыбнулся сочувственно возница. — Горилку куповала у селе. Для Божьяго праздничку.

— Ну?

— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвцевки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настоль-

ко слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским Мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ этот был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим грязным телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каб-

луками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах — месте, которое восхищало меня сначала до глубины души...

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю, за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах...

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1903 году, и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до

сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, — связали и факт поднятия розницы с началом Русско-японской войны.

Ну да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на пятьсот рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание повторствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до ста рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я. — Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника — то господин Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в публичной библиотеке.

* * *

В Петербург я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот — начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 6 руб., на полгода 3 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 6 руб., на полгода 3 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной до болезненности скромности я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ИВАНОВА

Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный, растерянный, в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.

- Что с тобой? — спросила жена.
- Плохо! — сказал Иванов. — Я левею.
- Не может быть! — ахнула жена. — Это было бы ужасно... тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.
- Нет... что уж скипидар! — покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. — Я левею!
- С чего же это у тебя, горе ты мое?! — простонала жена.
- С газеты. Встал я утром — ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету...
- Ну?
- Смотрю, а в ней написано, что в Ченстохове губернатор запретил читать лекцию о добывании

азота из воздуха... И вдруг — чувствую я, что мне его не хватает...

— Кого это?

— Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону... Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял: левею!

— Ты б молочка выпил... — сказала жена, заливаясь слезами.

— Какое уж там молочко... Может, скоро баланду хлебать буду!

Жена со страхом посмотрела на Иванова:

— Левеешь?

— Левею...

— Может, доктора позвать?

— При чем тут доктор?!

— Тогда, может, пристава пригласить?

Как все почти больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, — Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:

— Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.

— Дай-то бог, — всхлипнула жена.

Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал.

Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.

* * *

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:

- Еще полевел! Что оно будет — не знаю!
- Опять небось газету читал? — вскочила жена. — Говори! Читал?
- Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры...

Жена заплакала и побежала к тестю.

- Мой-то... — сказала она, ломая руки, — левеет.
- Быть не может! — воскликнул тесть.
- Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенька — и полевел!
- Надо принять меры, — сказал тесть, надевая шапку. — Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю.

* * *

Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозил ужас и отчаяние.

Вошел пристав.

Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном:

- Ну, как наш дорогой больной?
- Левеет!
- А-а! — сказал Иванов, поднимая на пристава мутные, больные глаза. — Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность...

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:

- Как вы себя сейчас чувствуете?
- Мирнообновленцем!

Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:

— Не готово еще... Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?

— Октябристом, — вздохнул Иванов. — До обеда — правым крылом, а после обеда — левым...

— Гм... плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками...

Жена упала тестю на грудь и заплакала.

— Я, собственно, — сказал Иванов, — стою за принудительное отчуждение частновладельч...

— Позвольте! — удивился пристав. — Да это кадетская программа...

Иванов с протяжным стоном схватился за голову:

— Значит... я уже кадет!

— Все левые?

— Левые. Уходите! Уйдите лучше... А то я на вас все смотрю и левые.

Пристав развел руками... Потом на цыпочках вышел из комнаты.

Жена позвала горничную, швейцара и строгого запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик «Робинзона Крузо» с раскрашенными картинками и понесла мужу:

— Вот... почитай. Может, отойдет.

* * *

Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.

Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал...

— Господи! — вскрикнула несчастная женщина. — Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены... Ну успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на

меня такими глазами... Ну скажи, что ты там прочел? Что там такое?

— Об исключении Колюбакина... Ха-ха-ха! — проревел Иванов, шатаясь как пьяный. — Отречемся от старого ми-и-и...

В комнату вошел тесть.

— Кончено! — прошептал он, благоговейно снимая шапку. — Беги за приставом...

* * *

Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос Эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми.

В комнату вошел пристав.

Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенno качнув головой, сказал:

— Готово! Доспел.

Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.

КТО ЕЕ ПРОДАЛ...

I

Не так давно «Русское знамя» разоблачило кадетскую газету «Речь»... «Русское знамя» доказало, что вышеозначенная беспринципная газета откры-

то и нагло продает Россию Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги.

Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор «Русского знамени» перешел с газет на частных лиц, попал на меня, осветил все мои дела и поступки и обнаружил, что я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен и — продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел было увернуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать как-нибудь те факты, которые вопиюще громко кричат против меня, но — ведь все равно: рано или поздно все выплынет наружу и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее.

Лучше же я расскажу все сам.

Добровольное признание — это все, что может если не спасти меня, то хотя частью облегчить мою вину...

Дело было так.

II

Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть два господина по очень важному делу.

— Кто же они такие? — полюбопытствовал я.

— Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой белясый, а другой маленький, косой, черный. Не иначе — японец.

Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату, поздоровались со мной.

— Чем могу служить?

— Я — прикомандированный к японскому посольству маркиз Оцура.

— А я, — сказал блондин, небрежно играя финским ножом, — уполномоченный от финляндской революционной партии «Войма». Моя фамилия Муляйнен.

— Я вас слушаю, — кивнул я головой.

Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и, пронзительно глядя мне в глаза, прошептал:

— Скажите... Вы не согласились ли бы продать нам Россию?

Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталась от него наследственная коммерческая жилка.

— Это смотря как... — прищурился я. — Продать можно. Отчего не продать?.. Только какая ваша цена будет?

— Цену мы дадим вам хорошую, — отвечал маркиз Оцула. — Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте.

— Запрашивать я не буду, — хладнокровно пожал я плечами. — Но ведь нужно же понимать и то, что я вам продаю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая громадная страна. И притом, нужно добавить, горячо мною любимая.

— Ну уж и страна!.. — иронически усмехнулся Муляйнен.

— Да-с! Страна! — горячо вскричал я. — Побольше вашей, во всяком случае... Свыше пятидесяти губерний, две столицы, реки какие! Железные дороги! Громадное народонаселение, занимающееся хлебопашеством! Пойдите-ка, поищите в другом месте.

— Так-то так, — обменявшиесь взглядом с Муляйненом, разразил японец, — да ведь страна-то разорена... сплошное нищенство...

— Как хотите, — холодно проворчал я. — Не нравится — не берите!

— Нет, мы бы взяли все-таки... Нам она нужна. Вы назовите вашу цену.

Я взял карандаш, придинул бумагу и стал долго и тщательно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и решительно сказал:

— Десять миллионов.

Оба вскочили и в один голос воскликнули:

— Десять миллионов?!

— Да.

— За Россию?!

— Да.

— Десять миллионов рублей?!

— Да. Именно рублей. Ни пфеннигов, ни франков, а рублей.

— Это сумасшедшая цена.

— Сами вы сумасшедшие! — сердито закричал я. — Этакая страна за десять миллионов — это почти даром. За эти деньги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообщения... Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Сибирь — эту громадную богатейшую страну!

Маркиз Оцула слушал меня, призадумавшись.

— Хотите пять миллионов?

— Пять миллионов? — рассмеялся я. — Вы бы мне еще пять рублей предложили! Впрочем, если хотите, я вам за пять рублей отдам другую Россию, только поплоше. В кавычках.

— Нет, — покачал головой Муляйнен. — Эту и за пять копеек не надо. Вот что... хотите семь миллионов — ни копейки больше!

— Очень даже странно, что вы торгуетесь, — обидчиво поежился я. — Покупают то, что самое дорогое для истинного патриота, да еще торгуются!

— Как угодно, — сказал Муляйнен, вставая. — Пойдем, Оцула.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ФЕЛЬБЕТОНЫ

Автобиография	7
История болезни Иванова	18
Кто ее продал.....	22
Люди	27
Робинзоны	31
Бедствие	36
Октябрист Чикалкин	40
Труха.....	44
Пернатое	51
Крайние течения	60
Без почвы	64
Граф Калиостро	69
Одесса.....	76
Раздвоение личности	85
Цепная собака.....	95
Пловец на большие расстояния	104
Неудачная антреприза	112
Как меня обворовывали.....	119
Трудолюбивый Харлампьев.....	127
Революционер	134
Сердечные дела Филимона Бузыкина	141
Волга	149
Роскошная жизнь	157
Ничтожная личность	168
Фабрикант	177
Загадки сердца	186

Как меня оштрафовали	194
Мексиканец	201
Актриса	205
Телеграфист Надькин	213
Сон в зимнюю ночь	220
Отцы и дети	224
Записки трупа	229
Дешевая жизнь	234
Золотые часы	240
Начальство (Провинциальные типы)	244
Сережкин рубль	246
Синее одеяло	257
Люди, близкие к населению	267
О русских капиталистах	272
Борьба с роскошью	281
Министр без портфеля	285

ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ

Предисловие	295
Фокус великого кино	299
Поэма о голодном человеке	303
Трава, примятая сапогом	309
Чертово колесо	313
Черты из жизни рабочего Пантелей Грымзина	319
Новая русская сказка	321
Короли у себя дома	324
Усадьба и городская квартира	328
Хлебушко	332
Эволюция русской книги	335
Русский в Европах	338
Осколки разбитого вдребезги	343